

- литература XIX века и христианство. – М., 1997. – С. 115.
11. Андреева Г.Т. Творчество Н.С. Лескова. – Иркутск, 1992. – С. 50.
 12. Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. – М., 2001. – № 1. – С. 40.
 13. Степанов Ю.С. Концепты. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М., 1997. – С. 40.
 14. Зарва В.А. К просветительской концепции человека («Соборяне» Н.С. Лескова – «Записки причетника» Марко Вовчок). Тезисы докладов межвузовской научной конференции, посвящённой 160-летию со дня рождения Н.С. Лескова. – Орёл, 1991. – С. 37.
 15. Берёзкина Е.П. «Соборяне» Н.С. Лескова (к проблеме евангельских мотивов) // Литература и религия: проблемы взаимодействия в общекультурном контексте / Под ред. Е.В. Семёновой. – Улан-Удэ, 1999. – С. 61.
 16. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск, 1995. – С. 17.
 17. Гуминский В. Органическое взаимодействие (от «Леди Макбет Мценского уезда» к «Соборянам») // В мире Лескова. Сб. статей / Сост. В. Богданов. – М., 1983. – С. 254.
 18. Кедров К. Фольклорно-мифологические мотивы

в творчестве Н.С. Лескова // Там же. – С. 66-67.

O.Krasnikova

THE SPATIO-TEMPORAL STRUCTURE OF N.S.LESKOV CHRONICLES «THE IMPOVERISHED FAMILY», «OLDEN TIMES IN THE VILLAGE OF PLODOMASOVO», «CATHEDRAL FOLK»

Abstract: The article is dedicated to the investigation of the spatio-temporal structure (or chronotop) in N.S. Leskov chronicles «The Impoverished Family», «Olden Times in the Village of Plodomasovo» and «Cathedral Folk». Great important is given to comparison of historical and fictitious time, to revealing of connections between plot time and landscape sketching, the time influence on characters' temper is described, the function of concepts like «home», «road», «universe», «monastery», «petersburge society», «fair», «theatre» in literature originality of the chronicles is considered.

Key words: historical time, fictitious time, chronotop.

УДК: 821.161.1.09

Попов В.Н.

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ ПОЭТА Н.Е. СТРУЙСКОГО*

Аннотация: В работе рассматривается история репутации поэта XVIII века Н.Е. Струйского от его современников до наших дней. Полученные наблюдения позволяют сделать ряд продуктивных выводов о «механизме» создания литературной репутации: она во многом определяется доминирующим представлением о социальном статусе писателя.

Ключевые слова: Н.Е. Струйский, литературная репутация, литература XVIII века, социальная стратегия, статус писателя.

Если о поэтах XVIII века говорят обычно с интересом, снисхождением и даже участием, то имя Николая Еремеевича Струйского (1749–1796), напротив, сопровождается набором эпитетов едва ли не ругательных: «помещик-самодур» (А.Е. Зарин) и «полусумасшедший поэт-графоман» (Н.П. Смирнов-Сокольский), «мучитель и истязатель своих крепостных» (Г.А. Гуковский), «парнасский буффон» (И.М. Долгоруков), «исступленный

графоман-строчкогон» (В.С. Пикуль) и т. п. При ближайшем знакомстве выходит, что этот «парнасский буффон» был просвещенный человек, последователь и страстный защитник Сумарокова, организатор лучшей в России типографии, строитель великолепного дворца, покровитель Рокотова и т. д. Так почему же столь деятельный и неординарный человек заслужил столь однозначно дурную репутацию?

О репутации Струйского при его жизни и в первое время по смерти, когда имя его было частью текущего литературного процесса, говорят лишь отдельные реплики, но начиная с середины XIX века можно выявить все тексты, которые участвовали в создании его репутации, и оценить вклад каждого из них. Как видно по стихам Струйского, в круг его близких друзей входили поэты С.Г. Домашнев и Ф.Г. Карин, он был хорошо знаком с А.П. Сумароковым: вероятно, именно Струйский познакомил его с Ф.С. Рокотовым (с которым сам был дружен [30, 6, 13]) – автором предсмертного портрета первого рус-

* © Попов В.Н.

ского трагика. В бумагах Державина был найден черновик эпиграммы на Струйского: «По имени – струя, // А по стихам – болото» [9, 497]. Эту эпиграмму часто ставят Струйскому «на вид» [31, 43; 21, 272; 6, 19; 24, 80], но едва ли это корректно: Державин был щедр на подобные эпиграммы (ср. эпиграммы на А.П. Сумарокова, где его талант уподоблен луже [9, 247-248]). Если по ней и можно делать выводы о репутации Струйского, то разве то, что Державин знал такого поэта и читал его стихи; более определённо о репутации Струйского говорит название эпиграммы, под которым она напечатана в издании Грота: «На известного стихотворца».

В 1827 году кн. П.А. Вяземский, в рамках рецензии на драматическую поэму Д.Ю. Струйского (Трилунного) «Аннибал на развалинах Карфагена», печатает в «Московском телеграфе» обстоятельный обзор «Сочинений Николая Струйского» 1790 года [7, 45-49; 8, 52-56]. К 1820-м годам XIX века современной литературой Струйский был забыт – имя его «известно малому числу литературных антиквариетов наших» [7, 45], пишет Вяземский. И в то же время в глазах критика Струйский – не «одиноким мечтатель» (И.Н. Розанов), но поэт, чья судьба характерна для истории русской словесности: безвестность его объясняется лишь тем, что любопытство «наших писателей <...> не изыскательно» [7, 46]. Вяземский представляет Струйского как выпускника сумароковской школы: «Сумароков имел в Г-не Струйском горячего поклонника и усердного заступника» [7, 49], «магистрального» направления своего времени. Но при этом, замечает критик, поэт не сделался сумароковским эпигоном, оригинальность его поэзии «не подложная» [7, 48] и выдаёт особенные черты «попечительного и признательного помещика» [7, 46]. Эти стихи «крепостные Русские» [7, 48], добавляет Вяземский – в этом смысле они принадлежат и русской «старине» [7, 47]. А из всех времён в литературе Вяземский ценит прошлое едва ли не выше других: если старина достойна «внимательного почтения» [7, 47], то настоящее – едва ли: уже завтра оно будет разжаловано «в давнопрошедшее» [7, 47]. Таким образом, поэт «старины» для Вяземского и есть подлинный поэт: «в старых книгах наших более истории, чем в новейших: в сих последних более Метафизики» [7, 49]. Вяземский делает обширную выписку из стихотворения «На смерть верного моего Зяблова» [7, 46-48], посвященного крепостному художнику Струйских: «Все это любопытно

в отношении к духу того времени» [7, 49]. В эти годы Вяземского интересует быт русской старины, он даже думает написать свою «Россияду» – «домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, то есть относящихся к нравам» [10, 24].

В книжке стихов 1790 года Вяземский находит «очевидные приметы романтизма; оспаривать народность этих стихов невозможно; <...> местных красот, кажется, также довольно» [7, 48]. Таким образом, издание 40-летней давности екатерининского поэта критик оценивает по гамбургскому счёту своих эстетических взглядов – то есть как современное литературное явление – и даёт ей благосклонный отзыв. Наконец, Вяземский даёт своеобразный «обет»: «...я охотно желал-бы узнать, где лежит поместье *Рузаевка* и поклониться памяти и памятникам поэта и живописца» [7, 48].

Мнение Вяземского о Струйском ещё яснее на фоне поэмы Трилунного. Пусть стихи Струйского сделаны не всегда «с искусством» [7, 49], но в «местных красотах» [7, 48] Рузаевки (поместья Струйского) более истории, чем в развалинах Карфагена, до которых исторический Аннибал не дожил: «поэту не позволено искажать события до этой степени» [7, 51]. «Ни о какой народности, ни о каком выражении ускользающей от поверхностного взгляда национальной характеристики при этом, разумеется, не может быть и речи» [10, 31]. Таким образом, стихи из чужой эпохи, написанные устаревшим языком, звучат для Вяземского свежее и актуальнее, чем подделки под историю современного эписона.

Высказывания Вяземского о поэтическом языке Струйского отличаются отстранённостью: стихи его написаны «не всегда с искусством» [7, 49] и «не доказывают, что Г-н Струйский был великий поэт» [7, 46], проза Струйского, говорит Вяземский, «гораздо витиеватее его поэзии: она часто так кудрява, что я не взялся-бы давать истолкование каждой фразе» [7, 49], и тут же оговаривается: «но между тем всё можно понять» [7, 49]. Надо учитывать, что «Вяземский – человек новой эпохи, от прошлого его отделяет почти непроходимая грань» [10, 41], при этом язык Струйского принадлежал «давнопрошедшему» русской литературе, для человека 1820-х годов звучавшему странно и непонятно. Вяземский признаёт эти языковые различия, избегая, однако, категоричной оценки поэзии Струйского.

Обещание навестить Рузаевку не было

литературной фразой. В декабре того же 1827 года Вяземский пишет И.И. Дмитриеву проездом из саратовского села: «Дорогою сделал я еще журнальное открытие: вообразите, что я был в двадцати верстах от Рузаевки, деревни поэта Струйского, о которой писал я в Телеграфе. Вдова его и два сына еще живы. Попалась-ли им моя статья? Постараюсь проведать о том; жалею, что не успел по обещанию своему, напечатанному в Телеграфе, поклониться памяти поэта и живописца его; но летом, когда буду опять в здешней стороне, с набожною точностию исполню свой сердечный и журналистический обет» [25, 1713]. Поездка в Рузаевку для Вяземского – обет не только «журналистический», но и «сердечный». Интерес критика к частностям биографии Струйского, и в том числе к его своеобразной орфографии не был случайным любопытством: «Писатель для Вяземского – это член общества <...>. Вяземский решительно отдает предпочтение документу, а не художественному тексту писателя. Его интересуют привычки и одежда Байрона, дикция Востокова и манера декламации В.Л. Пушкина, орфография Н. Струйского; он увлекается собиранием автографов» [10, 23].

Впрочем, уже к середине XIX в. просветительская статья князя Вяземского была крепко забыта. В это время о Струйском знают мало: «Известия, до него касающиеся, скудны и отрывочны» [17, 481]. М.А. Дмитриев пишет о нем так: «Решительно не знаю, где вставить, из запаса моей памяти, одного чудака из стихотворцев, о котором я думал, что никто и не знает» [11, 85]. Почти на протяжении десятка лет Струйскому приписывалось губернаторство во Владимире [1, 282; 17, 487; 9, 497; 2, 265; 28, 1176; 36, 7; 14, 565]. Это показывает, что к середине XIX в. имя Струйского превратилось в пустое место – которое мог заполнить любой миф. И в 1860-е годы такой миф явился: вышли в свет мемуары кн. И.М. Долгорукова, вскоре дополненные пером М.А. Дмитриева. Но сначала обратимся к «Воспоминаниям» Н.А. Тучковой-Огаревой.

По её словам, Струйский «был человек очень сердитый и вспыльчивый, держал верховых, которые день и ночь разъезжали и доносили ему все, что делалось, кто проезжал через Рузаевку и куда. Тогда он приказывал привести проезжающего, иногда милостиво отпускал его, а иногда, случалось, заставлял беседовать с собой, и лишь только что-нибудь ему не понравится, сделает знак людям, проезжего схватят и потащат в тюрьму» [22,

20]. Можно ли доверять воспоминаниям Н.А. Тучковой-Огаревой? Перед нами впечатления семилетней девочки, оказавшейся в Рузаевке через 40 лет по смерти её хозяина. Мемуаристка не слишком обеспокоена исторической достоверностью: во всех прижизненных изданиях называет Струйского «Николаем Петровичем», продлевает его существование до 1800 г. и проч. Вот что говорит о личности и воспоминаниях Тучковой-Огаревой комментатор С.А. Переселенков: «...она не в силах была понять Герцена не только, как мыслителя и общественного деятеля, но просто, как человека; понять так, как понимала его первая жена. Внешняя сторона исторических событий привлекала к себе ее внимание и даже временами сочувствие, но внутренний смысл их большею частью был для нее мало доступен <...>. Наталье Алексеевне, когда она начала писать свои воспоминания, было около шестидесяти лет. Память, видимо, стала ей уже изменять. Это заметно сказывается в ее записках на подробностях, которые не всегда ею верно передаются» [23, VIII, XIII-XIV].

Ключ к мемуарам Тучковой-Огаревой дает следующий отрывок: «Николай Петрович Струйский писал стихи, хотя очень плохие, восхваляя в них Екатерину II; дед мой рассказывал, что императрица прислала ему бриллиантовый перстень, с тем, чтобы он более стихов не писал» [22, 20-21]. Бриллиантами за дурные стихи не наказуют – эта фраза могла прозвучать только застольной шуткой. Но семилетняя девочка об том не ведаёт: так мы узнаём, что почтенный генерал-майор артиллерии А.А. Тучков (1766–1853), который должен был хорошо помнить хозяина Рузаевки, и 40 лет спустя не может простить соседу царских милостей. Вот кто рассказал мемуаристке об «очень плохих» стихах Струйского, вот в чьем доме она узнала о «страшном Николае Петровиче».

Прибегал ли Струйский к телесным наказаниям – для нас сейчас вопрос второстепенный. Важно, что именно эта его сторона – мнимая или ложная – выдвигалась такими людьми, как А.А. Тучков, на первый план и составляла один из главных пунктов их разговора хозяину Рузаевки. У А.А. Тучкова был повод для зависти: в начале 1790-х гг. у Струйского три тысячи душ, прекрасный замок, красавица жена – наконец, он обласкан императрицей. Но за какие заслуги – за верную службу, за военные победы, за предводительство дворян? Нет, всего лишь за стихи – это было непостижительно.

Самые подробные воспоминания о

Струйском, которые и определили его репутацию на два столетия вперед, принадлежат перу кн. И.М. Долгорукова [17, 481-484]. В 1791 г. молодой князь вступил в должность вице-губернатора Пензенской губернии и спустя два года навестил Рузаевку. Исследуем внутреннюю логику этого рассказа. Долгоруков начинает с описания «прекрасного дома» и «приятной жены» [17, 482] Струйского: всё это производит впечатление свидетельства достоверного и благожелательного. Но далее узнаем, что вместо того, чтобы «наслаждаться жизнью благополучного человека <...> этот самый г. Струйский, влюбясь в стихотворения собственно свои, издавал их денно и ночно, покупал французской бумаги пропасть, выписывал буквы разного калибра, учредил типографию собственно свою и убивал на ее содержание лучшую часть своих доходов» [17, 482]. Мемуарист не пишет просто, что Струйский учредил собственную типографию, хотя это было совершенно неслыханное явление для помещика XVIII века. Он начинает разговор не с факта, а с его толкования («влюбясь в стихотворения собственно свои»), и когда на сцену является сам факт учреждения типографии, читатель воспринимает его уже под вполне определённым углом зрения. Что касается «убивания доходов» на типографию, то Рузаевка, согласно позднему свидетельству самого Долгорукова, при Струйском не только не разорилась, но давала «нарочитый доход» [12, 59] и спустя 20 лет по смерти типографа.

«Он имел кабинет в самом верху дома, называемый: Парнас. В сие святилище никто не хаживал, ибо, говорил он, не должно метать бисера свиньям. Меня он удостоил ласкового там приема, за который дорого заплатил однако один из моих товарищей: ибо он, читая мне одно свое произведение и натурально из хвастовства, по мнению его лучшее, сильно будучи им восхищаем, щипал его в восторге до синих пятен. Исступления подобного, когда о стихах говорили, я не видывал» [17, 482]. Если поэт заводит у себя дома кабинет и называет его Парнасом, то изберёт это место скорее для уединенных свиданий с Музами, чем для светских приемов. Но Долгоруков дает этому другое толкование, основанное якобы на прямой речи Струйского. Ещё Ахматова «так решительно возражала» [35] против прямой речи в мемуарах: проверить такое свидетельство невозможно, а поверить ему легко. Прямая речь Струйского должна показать, что он уединялся на Парнасе не потому, что был поэт, а потому что дер-

жал ближних своих за свиней и прятался от них в своём псевдопоэтическом чулане. Поэтическое исступление Струйского подается с однозначной оценкой («из хвастовства») и в комическом ключе.

«Все обращение его впрочем было дико, одевание странно. Он носил с фракком парчевой камзол, подпоясывался розовым кушаком шелковым, обувался в белые чулки, на башмаках носил бантики и длинную повязывал прусскую косу» [17, 482]. Разумеется, странность одевания ещё не великий грех – но только не в обвинительной логике мемуариста.

«Письма его ко мне, которые я все собрал, и сочинения рассмешили бы мертвого. Потешнее после Телемахиды ничего нет на свете. <...> они во всем несносны. Простим ему их, поелику он умер и других таких уже не напишет. Пожелаем однако притом искренно, чтобы подобных не возрождалось» [17, 482-483]. Невозможно опровергнуть то, что не было доказано – заметим лишь, что Долгоруков выдаёт собственные впечатления за аксиому, не требующую доказательств.

Далее Долгоруков примечает на рузаевском парнасе «пыль везде большую» и спрашивает Струйского о причине. Хозяин Рузаевки в ответ замечает: «Пыль есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, не был ли кто у меня и что он трогал» [17, 483]. Это могло быть обычное для светского человека *bon mot*, ср. пушкинский анекдот об ответе Крылова, когда того спрашивали, почему он не боится сидеть под тяжелой рамой, висевшей на хлипком гвозде [27, 170]. Но Долгоруков шутки не заметил: «Такая мысль меня поразила. Увидев притом, что в комнате его множество разных оружий и соображая сей наряд, столь неприличный Парнасу, с его отзывом, заключил, что он должен быть жестокий хозяин. <...> Говорили мне, будто догадка моя была справедлива, <...> отзыв его приличен был тирану, носящему с собою повсюду мрачные помыслы. Сказывали мне еще, будто он до стихотворческого пристрастия был склонен к юридическим упражнениям, делал сам людям своим допросы, судил их, говорил, за них и против, суд и дело в своих собственных судилищах и вводил самые даже пытки потаенным образом. Вот что я слышал от посторонних» [17, 483-484]. Перед нами смесь догадок, слухов и прямой речи Струйского; что до «юридических упражнений» (если достоверно услышанное князем «от посторонних»), то, по мнению современного исследователя, они скорее положительно реко-

мендуют Струйского – это свидетельство его просвещенности, а не самодурства: по законам того времени помещик был обязан наказывать крепостных за провинности [5, 125]. Струйский не просто судит своих крестьян, но и пытается делать это по законам состязательного права: в то время это было, пожалуй, не меньшим новшеством, чем заведение типографии.

Допустим всё же, что Струйский был не более чем «жестоким хозяин». Однако Долгоруков возмущается его жестокостью наравне с его камзолом и его стихами. Если мемуарист занимается не проверкой слухов об общественно-опасных деяниях Струйского (как вице-губернатор, он имел все на то полномочия), а исчислением его слабостей и манер – не говорит ли это о его пристрастности и отсутствии серьезных обвинений? Но вот и кульминация мемория: «Ежели это было подлинно так, то чего смотрело правительство? От этого волосы вздымаются» [17, 484]. В царствование, пережившее пугачевский бунт, это звучит строчкой из доноса – да и весь мемуар смахивает на обвинительное заключение. Фактическая сторона его ничтожна, но его обвинительная логика развивается по законам «Горя от ума»: оригинальность вырастает в чудачество, чудачество – в сумасшествие, сумасшествие – в порок, порок – в преступление, а преступление – в бунт.

На достоверность долгоруковских мемуаров бросает тень не только тенденциозная логика «Записок», но и действия самого вице-губернатора. Судя по мемуарам князя, Струйский произвел на него впечатление «парнасского буффона» и «тирана», однако за три с половиной года Долгоруков не ленится несколько раз проехать до Рузаевки двести верст в оба конца и издать там ряд своих сочинений. Вспоминается и любопытная оговорка издателя «Указа»: «По своему литературному направлению Н.Е. был почитателем Сумарокова и бичевал приказных, которые (кажется, и в том числе поэт, князь Иван Михайлович Долгорукий, бывший пензенским вице-губернатором) вымарщивали с него взятки, пользуясь его поднадзорным положением и богатым состоянием» [15, 63]. Заметим, что Долгоруков был внук князя Ивана Александровича – опального наперсника Петра II – и трудно переживал падение своего рода. Вот что говорит о нем издатель «Капица» В.И. Корвин: «Иван Михайлович Долгоруков после всех неудачных попыток его родных вновь обрести состояние и вернуть прежнее положение в обществе <...> всегда считал, что

он живет в нищете, на которую отныне был обречен его род. <...> Деньги вследствие этого становятся значительной темой «Капица» и во многом определяют отношения Долгорукова с людьми. Он никогда не забывает благодарно отметить тех, кто оказал ему услуги по части приобретения имущества или подарил ему и его семье значительные суммы, и равно не пропустит лиц, принесших ему убытки, недостаточно наградивших его и поскупившихся на подарки» [16, 318-319]. «Объективные» суждения мемуариста о своих героях – только видимость: «При явном стремлении сохранить объективность <...> собственное суждение всегда брало верх над реальным значением того или иного деятеля» [16, 348].

Это многое проясняет в отношении Долгорукова и Струйского. У Струйского было то, о чем мечтал князь – богатое поместье, которое питало не только его семью, но и его музу. Весьма вероятно, что на правах вице-губернатора князь рассчитывал получить от хозяина Рузаевки нечто более весомое, чем мадригал в честь жены, но богатый помещик, к его досаде, дарил его лишь плодами своего вдохновения. Досаду князь разумно скрывал и задаром печатал свои сочинения в лучшей русской типографии.

Долгоруковский миф был подхвачен М.А. Дмитриевым [11, 85-86]: в своих «Мелочах» он ссылается на записки кн. Долгорукова, но прибавляет несколько собственных подробностей. Видимо, для создания драматического эффекта Дмитриев выводит на сцену рузаевского Парнаса некоего «старосту»: в самом деле, на фоне Аполлона и девяти муз «приказания по хозяйству» и «суд над виноватыми» трогают воображение. Но ещё эффектнее кульминация: «и тут же, у подошвы Парнаса, происходило наказание». Последняя фраза подчёркивает комизм сцены: «Иногда profanum vulgus оказывался виновным и в том, что помешал вдохновению!».

Долгоруковско-дмитриевский миф закрепился в истории и литературе. Например, сцена «наказания старосты» переключалась в статью В.В. Шангина [36, 9] и роман «Две столицы» Н. Равича [5, 40-41], а дмитриевская оценка поэзии Струйского: «Помещаю его подле Гр. Хвостова, как товарища по бездарности, хотя уступающего и ему не одною степенью, в своем искусстве» [11, 85], унаследована автором очерка о Струйском в «Русском биографическом словаре» [14, 564]. Отзывы о Струйском как об одном «из самых фантастических самодуров XVIII века, прославившимся своей маниакальной литературной де-

тельность» [5, 150] находим в трудах В.О. Ключевского, Г.А. Гуковского, А.В. Лебедева, В.С. Пикуля, Е.В. Кончина и др.

В начале XX в. среди исследователей появились несогласные с этим преданием: быть может, допускает один из них, такой взгляд «является несколько односторонним, в силу скудности и пристрастности тех сведений, какими они о нем располагали» [15, 63]. Н.А. Обольянинов предполагает, что Долгоруков был не слишком компетентным мемуаристом: Струйский «увлекался и другими научными вопросами, напр., оптикой, про что рассказывает кн. Долгорукий: Струйский объяснял ему в течение 2 часов разные оптические явления, но таким языком и способом, что он ничего не понял. Чья была вина в данном случае, – судить трудно, но, может быть, и кн. Долгорукий был “неспособным” учеником» [21, 271]. По мнению Обольянинова, распространенные отзывы о стихотворениях Струйского «слишком уж суровы <...>. Прочтите, например, такие “вирши” Струйского: они ничем не хуже многих стихов его учителя, Сумарокова» [21, 272]. Странности же Струйского объясняются его приверженностью поэзии: «Он старался и во внешности своей и в окружающей обстановке походить на настоящего служителя муз: носил длинные, прямые до плеч, волосы, одевался причудливо <...>. Стихи свои он писал обязательно на “Парнасе” <...>. Здесь был устроен нарочно поэтический беспорядок» [21, 272]. Таким образом, те же строки из долгоруковских записок Обольянинов читает совершенно иначе. Исследователь начала XX в. Е.А. Бобров видел в Струйском «просвещенного» [3, 1] и «очень любопытного» человека [4, 11]. «Жизнь его и деятельность составляет предмет особого труда, подготовляемого мною к печати», – писал Бобров [4, 11]: к сожалению, труд этот так и не увидел свет. За несколько лет до революции были опубликованы воспоминания Е.М. Сушковой, «последней из рода Струйских», воскрешающие рузаевский быт XVIII в. [33].

В советское время реабилитация Струйского сошла на нет: писатель с репутацией «грозного крепостника» не мог ожидать снисхождения от официальной науки. Тем удивительнее выход в 1962 г. статьи И.М. Сахаровой о Струйском и его связях с Ф.С. Рокотовым [30]. И только в 1990-е гг. начинается вторая волна реабилитации поэта: появляются обширные исследования А.А. Морозова [19; 20] и Н.Л. Васильева [5], даже переиздается – впервые за два столетия – его поэтический

сборник «Эротоиды». Однако долгоруковский миф по-прежнему принимается многими исследователями за очевидность.

Почему же репутация Струйского, основанная на свидетельствах либо некомпетентных (Тучкова-Огарева, Дмитриев), либо прямо тенденциозных (Долгоруков, Тучков), оказалась при этом столь долговечной? Истоки репутации Струйского следует искать не в литературном цехе, со многими представителями которого поэт был знаком или дружен, но, скорее, в среде провинциальных помещиков, к которой принадлежали А.А. Тучков и кн. И.М. Долгоруков. Понятно, что сама по себе поэзия Струйского вызвать раздражение людей этого круга не могла – едва ли они были столь чутки к современной литературе. Многие превосходили Струйского в богатстве. И даже его типографские или юридические заботы были бы вряд ли осуждены по отдельности. Звание поэта оспаривалось у Струйского не потому, что стихи его были плохи, но потому, что на взгляд таких людей, как Тучков или Долгоруков, Струйский совмещал две несовместные, на их взгляд, социальные стратегии – помещика и поэта. Так каков же был в XVIII столетии социальный статус поэта и почему он был несовместим с положением «удельного рузаевского князя»?

Литературная ситуация XVIII века, как и вообще всё в русском обществе той эпохи, была следствием петровских реформ. В начале века зарождающаяся светская литература делается «средством перевоспитания дворянского общества. <...> Поскольку литература поставлена на службу политике, в специальных агентах она не нуждается. Изготовление литературных текстов становится одним из служебных поручений и достается то одному, то другому лицу из окружения царя – наряду с составлением указов, строительством триумфальных ворот или устройством шутовских церемоний; для такой службы достаточно грамотности» [13, 562]. «Человек в России, если он не принадлежал к податному сословию, не мог не служить» [18, 28], но «Табель о рангах» профессии сочинителя не знала. Для русского государства доекатерининского времени литератор был, по словам Пушкина, «нечто иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше» [26, 249]. Такая социальная роль вполне удалась одному Ломоносову – впрочем, поэзия не была главным его занятием. Сумароков и Третьяковский, каждый по своему преданные поэзии, приобрели, по словам Ходасевича, репутацию «всеобщего посмешища русской литературы» [34,

463].

При Екатерине поэтов уже не бивали, составляются первые литературные кружки, но в русском обществе всё же преобладает мнение, что если дворянам и стоит заниматься литературой, то «легко и непринуждённо, а более довольствоваться услугами платных стихотворцев» [32, 119]. Итак, поэт XVIII столетия – это *поэт-подданный*, для которого занятия литературой являются либо делом служебным, либо досугом, которому он волен предаваться в свободные часы. Отдельной профессией или «отраслью промышленности» (Пушкин) литературу сделают уже «люди 1812 года», а в ранг религиозного служения возведут поэты Серебряного века.

Струйский выпадал из своего века – и в этом надо искать истоки как «отталкивания» его современников, так и «притяжения» людей Серебряного века. Подобно поэтам пушкинского круга, он считал литературу главным делом своей жизни. Более того, его повседневная жизнь проникнута литературной символикой: он строит дворец, чтобы завести у себя Парнас и устраивает типографию, чтобы печатать свои стихи; он отвечает бунтующим крестьянам литературным воззванием и приходит к императрице, чтобы вручить ей свои книги. Его судьба более всего напоминает нам социальное творчество поэтов Серебряного века.

И.Н. Розанов делит писателей на тех, что «идут по магистрали, хотя бы были второстепенны по таланту» и на «одиноких мечтателей», бредущих по проселкам [29, 19]. Жизненная стратегия писателя Струйского была не только не «магистральной» для своей эпохи – она была вызывающе «антимагистральной». Но такая демонстративная «несвоевременность» оказалась для поэта спасительной: Струйский не исчез «в туманах безвестности» (Розанов), а литературный его облик и двести лет спустя сохраняет оригинальные и неповторимые черты.

На примере Н.Е. Струйского понятно, как случайно и произвольно развитие литературной репутации. Однако эта случайность и произвольность ограничена двумя константами. Первая («объективная») константа – сочинения самого автора и документальные свидетельства о его жизни. До недавнего времени эта константа в литературной судьбе Струйского роли почти не играла: стихи Струйского – за единичными исключениями – не переиздавались, а прижизненные издания составляли «большую библиографическую редкость» [17, 481]. Следовательно, писав-

шие о нём в XIX и XX вв. знали о его поэзии только понаслышке. Исторических свидетельств о жизни Струйского до недавнего времени тоже было немного.

Вторая («субъективная») константа – это «магистральные» для данной эпохи явления литературной жизни, и в том числе социальный статус поэта. Эта константа до недавнего времени и создавала репутацию Струйского. Случайность, что самые подробные мемуары о Струйском оставил человек, так болезненно переживавший его богатство; случайность, что М.Н. Лонгинов опубликовал их в 1860-е годы; случайность, что Дмитриев их заметил и творчески развил и т. д. Но едва ли случайно, что рассуждения князя Вяземского про «крепостные Русские» стихи Струйского публика середины XIX в. не поняла и забыла, в то время как долгоруковские анекдоты об «оригинале» и «парнасском буффоне» приняла за «сведения конечно любопытные для любителей старины и истории нашей литературы» [17, 487] и выучила наизусть; когда же М.А. Дмитриев приправил их театральными эффектами, они вошли в предание и надолго заменили подлинную историю. Признать в поэте XVIII века не униженного слугу или же чиновника, бряцающего на струнах в часы досуга, но самовластного рузаевского князя, для которого литература была высшим законом, тогдашняя публика была не готова. Кроме того, сами долгоруковские мемуары могли быть прочитаны по-разному – их и стали читать иначе на рубеже XIX-XX веков. Увидели в Струйском прежде всего человека, влюбленного в поэзию, и все его «странности» легко разъяснились. И это неудивительно – современники Волошина и Вяч. Иванова легко узнавали в Струйском знакомые черты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бартенев П.И. Заметка о сельских типографиях в России // Библиографические записки. 1858. № 9. Стб. 279-283.
2. Бартенев П.И. Дополнения, заметки и поправки // Русский архив. 1866. Стб. 265.
3. Бобров Е.А. Помещик и его крестьяне в 1774 году // ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 677. Архив Е. А. Боброва. Оп. 1. Д. 387. Л. 1–2.
4. Бобров Е.А. Из истории жизни и поэзии А.И. Полежаева // Варшавские университетские известия. 1904. № 2. С. 1-40 (отд. паг.).
5. Васильев Н.Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и верноподданного. – Саранск, 2003.
6. Воронин И.Д. А.И. Полежаев. Жизнь и творчество. – Саранск, 1979.
7. «Вяземский П.А.» Библиография // Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым. 1827.

- Ч. XVII. Отд. первое. III. – С. 45-52.
8. Вяземский П.А. Новые книги // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. II: Литературные критические и биографические очерки: 1827 г. – 1851 г. – СПб., 1879. – С. 52-57.
 9. Державин Г.Р. Сочинения. С объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. III: Стихотворения. Ч. III. – СПб., 1866.
 10. Дерюгина Л.В. Эстетические взгляды П.А. Вяземского // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. – М., 1984. – С. 7-42.
 11. Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. – М., 1869.
 12. «Долгоруков И.М.» Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года князя И.М. Долгорукова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1870. Генварь – Март. Книга первая. – М., 1870. – С. 59-61.
 13. Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Третьяковский, Ломоносов, Сумароков // Живов В.М. Разыскания в области истории и предистории русской культуры. – М., 2002. – С. 557-637.
 14. Зарин А. «Е.» Струйский // Русский биографический словарь. «Т. XIX:» Смеловский – Суворина. – СПб., 1909. – С. 565.
 15. Из эпохи пугачевщины. Сообщил Б. // Минувшие годы. 1908. № 12. – С. 63-68.
 16. Коровин В.И. Князь Иван Долгоруков и «Капище моего сердца» // Долгоруков И.М. Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. – М., 1997. – С. 283-350.
 17. Лонгинов М.Н. Несколько известий о Пензенском помещике Струйском // Русский архив. 1865. № 4. Стб. 481-488.
 18. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX в. – СПб., 1994.
 19. Морозов А.А. Из тьмы былого // Встречи с историей: очерки, статьи, публикации. Вып. 3. – М., 1990. – С. 137-147.
 20. Морозов А.А. «Николай Струйский, поэт российский» // Поэзия: Альманах. Вып. 58. – М., 1991. – С. 61-67.
 21. Оболянинов Н. «А.» Поэт и типограф-любитель, Николай Еремеевич Струйский // Голос минувшего. 1913. № 5. – С. 271-273.
 22. Огарева-Тучкова Н.А. Воспоминания: 1848–1870. – М., 1903.
 23. Переселенков С.А. Наталия Алексеевна Тучкова-Огарева и ее «Воспоминания» // Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. Л., 1929. С. I-XXII.
 24. Пикуль В.С. Шедевры села Рузаевки // Пикуль В.С. Из старой шкатулки: Миниатюры. – Л., 1976. – С. 74-82.
 25. Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву // Русский архив. 1866. № 11-12. Стб. 1616-1730.
 26. Пушкин А.С. «Путешествие из Москвы в Петербург» // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Том XI: Критика и публицистика: 1819 – 1834. – М., 1949. – С. 243-267.
 27. Пушкин А.С. Table-talk // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XII: Критика. Автобиография. – М., Л., 1949. – С. 156-177.
 28. Ранг М. «М.» Заметки. «№» 2 // Русский архив. 1867. № 7. Стб. 1176-1177.
 29. Розанов И.Н. Литературные репутации: Работы разных лет. – М., 1990.
 30. Сахарова И.М. Н.Е. Струйский и его связи с Ф.С. Рокотовым // Очерки по русскому и советскому искусству. – Л., 1962. – С. 3-15.
 31. Симони П.К. Н.Е. Струйской, поэт-метроман, и его сельская типография (1788 – 1796) // Старые годы. 1911. Январь. – С. 38-43.
 32. Степанов В.П. К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в. // XVIII век. Сб. 14: Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. – Л., 1983. – С. 105-120.
 33. Сушкова Е. «М.» Усадьба Струйских «Рузаевка»: Из воспоминаний последней в роде // Столица и усадьба. № 38–39. 1 августа 1915 года. – С. 3-5.
 34. Ходасевич В.Ф. Кровавая пицца // Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник: Избранное. – М., 1991. – С. 463-466.
 35. Черных В.А. Мифоборчество и мифотворчество Анны Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 3. – Симферополь, 2005. – С. 3-22 [Электронный ресурс]: <http://www.akhmatova.org/articles/chernyh1.htm>
 36. Шангин В.В. Сельские типографии в последней четверти XVIII века и рузаевские издания Струйского. – СПб., 1903.

V. Popov

THE LITERARY REPUTATION OF N. STRUJSKIY

Abstract: The author reveals the history of reputation of the XVIII-th century poet Nikolay Strujskiy and tries to analyse its originality in the context of the writer's status in the Russian society. The obtained observations guide the author to several conclusions on the mechanics of the literary reputation, which occurs to be greatly determined by the dominating notion of the writer's social status.

Key words: N. Strujskiy, literary reputation, XVIII-th century literature, social stratification, writer's status.